

◆ | II-я г. изданія | ◆

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ.

◆ | II-я г. изданія | ◆

ВОСТОЧНАЯ ЗАРЯ

№ 25.

Воскресенье, 31 января 1910 г.

Отдѣльный №—5 коп.

Выходитъ въ г. Иркутскѣ ежедневно, кромѣ поедѣльниковъ.

чужестранной и безаремной гибели по цента моральной силе, как раз в то время, когда мы научились понимать и любить его, когда с любовью и благодарностью вчитались прислушивались к его прозякнuto горячо и больно за себя и нас смху, научились видеть в его скучных, хмурых, тоскующих и ноющих людях свое собственное мало лестное отражение.

Чеховщина*—это было крылатое и замчательное мткое слово, которое быстро приобрело у нас право гражданства, и которое, как нельзя лучше, характеризовало догаду полосу в настроенях и переживаниях нашей интеллигенции. Это было горючее клеймо, но развть можно было спорить и негодовать, развть можно было бросить обвинение в того, кто заклеймил нас ямиз,—вдть это значило бы понять на зеркало за недостатком отраженной имъ фидономии.

И когда мы поняли это, мы съ благодарностью всмотрлись в это зеркало. Нашей болью, нашей скорью, пустотой и бессодержательностью нашей жизни были прозякнуты всь творения Антона Павловича, и это сдлало писателя латимымъ другомъ нашей интеллигенции, латомъ от плота ея.

Въ тяжелую эпоху общественной реакци впервые засмтрлся юноша Чеховъ—Антонъ Чехоте. Это была эпоха всеобщаго крушения идеаловъ и надежд, эпоха грустнаго и тяжелаго безвременья. Эти эпохи вообще отазывали на всенки проповди малыхъ дла в тихихъ успкахъ, когда личность, оторванная отъ питательной силы общественности и предоставленная самой себ, бесцельно барахтается въ засасывающей тац будничныхъ мелочей, задыхается въ ядовитыхъ испаренияхъ стоячаго болота, ломаетъ свои целости отъ мучительныхъ славиз неудержимой зтвоти. Начинаются мучительные и безнадееные поиски Царства Божия, но слишкомъ узко поле человеческаго держания, слишкомъ тесенъ кругъ замыкающихъ его интересовъ, слишкомъ слабъ его оторванные отъ общественного длаго, единичные силы и слишкомъ силенъ гнетъ давящаго одиночества.

Въ такую эпоху впервые засмтрлся Антонъ Павловичъ Чеховъ. Что, кроме полноты, гнили, пустоты и бессодержательности, могъ онъ черпать въ окружающей его действительности для своихъ сюжетовъ? И онъ смтрлся, смтрлся надъ бесцельемъ и нищечностью своего поколения, смтрлся, скор-

онъ и болелъ душой за него. Скорби и боль дла потому, что ридомъ съ смтраниямъ, пошлымъ и жалкимъ онъ, смтъ своего поколения, самъ не видялъ ничего радостнаго, обнадеживающаго и ободряющаго; потому, что и самъ не видялъ конца тому скверному и тяжелому кошмару, который давилъ наше общество, не было за что надеяться, не было чмъ жить. И въ этомъ смысле не справедливы, но втрцы уверенъ части критики, которая, во главъ съ Скоморошскимъ, обвиняла Чехова чть ли не въ безыдейности. Не было, действительно, ясно сознаваемаго и определеннаго идеала, къ которому Чеховъ азалъ бы своего читателя; но была за то мучительная жажда его. тоска по немъ, неустанные поиски и скорби о безыдейности и бессодержательной бдности жизни.

Чеховщина* была примымъ отражениемъ того настроения индивидуалистическаго пессимизма, которое царовало среди нашей интеллигенции. Разрозненная и одинокая, она томилась отъ скуки, жаждала свтлаго воздуха, движения и жизни, но не находила ихъ. Жизнь проходила мимо, гдъ то здсь, казалось, близко, но она, интеллигенция, не знала, какъ подступиться, какъ подойти къ ней, какъ приобщиться къ ея движению. И оттого она оставалась совершенно одинокою, заброшенной и забытой, выдвляла цыные кадры лишинихъ, скучающихъ и хмурыхъ людей, надолбавшихъ всмъ и въ томъ часдъ самимъ себъ своимъ втрчнымъ вытмемъ и плачемъ.

Вназу въ народныхъ глубинахъ нарастали и крбили какія то новые силы, готовившие къ выступленію на жизненную арену. Но лишие, скучающие и тоскующе люди проглядывали ихъ, не въ состояніи были прозякнуться новой нарождающейся правдой, новой бодростью и новыми надеждами.

Отрванная еще въ восьмидесятые годы отъ широкаго общественного простора, эта интеллигенция, задыхавшаяся въ тесныхъ рамкахъ индивидуальной добродтели, всь свои мучительные поиски наравнявшая за синей птицей индивидуальнаго безмерствія, съ гоской и скукой смотрела на назрввшія события, не видла и не чаяла въ нихъ своего спасения.

И какой она была эта интеллигенция, когда ее изучали и описывали Чеховъ, такой она осталась и впередъ: дробной, безжизненной и скучной, съ своей жаждой личнаго подвига, личнаго удовольствія.

На гробизъ поднявшейся ее революционнаго воана она жскла праздники, праздника опьянения, праздника сильныхъ ощущений, праздника безумнаго риска, дававшего ей возможность стряхнуть съ себя хоть не надолго мертвящую скуку прозябанія. Сущность совершавшихся грандиозныхъ событий осталась ей совершенно чужда. Оттого съ такимъ легкимъ сердцемъ она тотчасъ же по минованіи надобности сумела отказаться отъ недавно только провозглашенныхъ лозунговъ, отказаться отъ недавно вознесенныхъ подъ облака боговъ и поклониться новымъ.

Интересно прослдить этапы развитія этой интеллигенции по литературъ посдъ Чехова.

Умеръ Чеховъ, но не умерла чеховщина в красной нитью она проходитъ черезъ всю нашу литературу, начиная съ эпохи дореволюционнаго и революционнаго подъема и кончая убогой и безалавной скудостью нашихъ дней. И отличительная черта этой чеховщины—рзкое поставленная задача индивидуальнаго благополучія, внутренняго оправданія личнаго бытія. Въ разное время задача ршалась разво. Въ эпоху подъема и радостнаго опьяненія борьбой Горькій плъ птени о соколдъ, о буревитнкахъ. Человкъ казался тогда невыразимо красивымъ, былъ не только человекъ, былъ богочеловкомъ.

Человккъ—это звучитъ гордо!

Интеллигенци не было тогда оснований ни плакать, ни плтъ. Слишкомъ жаво бурлила вокругъ жизнь, слишкомъ опешаемою и невротично были неожиданности, слишкомъ многообещающая и заманчивы были возможности. Но возможности не оправдались и богъ человекъ оказался поирежемымъ человекомъ.

Начинается новая полоса въ нашей литературе, которая цлкомъ прировнена къ оправданію развратичной личности. Раскапывавшая въ своемъ грбномъ утешеніи общественности, эта литература начинаетъ копаться во внутренности индивидуальной души, начинаеть усленно пропагандировать идею Царства Божія внутри насъ*. Лучными ощущениями, идее гармоническаго сланія личости съ природой, теорія доминирующаго значенія фзiologicalическихъ потребностей надъ духовными—все это яркіе признаки типичной чеховщины, только чеховщины боевой, ршавшейся отбросить, наконецъ, ныть и плачь на рбкахъ наивныхъ и

наивны оправданіе безразостному существованію „лишняго“ человекъ, подтаивающа карты и выдающъ за смыслъ жизни маленькую животную радость цекотанія нервовъ, животной сытости и животнаго пренебреженія всмъ, что выше корыта.

И, наконецъ, чеховщина послднихъ дней,—трагедія личности, титно стущаяся въ „врата невномата“, трагедія Анатомы. Та же трагедія одинокой интеллигентской души, оторванной отъ жизни, оторванной отъ общественности и азывающей подъ титосью своего бессильнаго одиночества.

Съ той только разницей, что Чеховъ, болтъ и скорбя душой за своихъ героев, втралъ, что когда нибудь, въ далекомъ, м. б., будущемъ, они найдутъ себъ примненіе, перестанутъ быть „лишними“, а премьники его изъ кожи вонъ длаи, чтобы пристроить этихъ лишинихъ и хмурыхъ людей, влознуть въ нихъ струю живительной жаверадостности, и времена не прочь были даже объявить ихъ солью и украшеніемъ земли.

Но бодрость ихъ оказалась бодростью на часъ, и Анатомы—этихъ дукъ вичаго исканія, снова по старому стоимъ передъ первой дверью, гдето ищеть спасенія отъ живянной неурядицы, пустоты и безнадеености, ищеть и не находятъ.

Все, маю написанное,—писалъ Чеховъ,—забудется черезъ пять—десять лтъ, но пути, мною проложенные, будутъ длны и невредимы; въ этомъ моя единственная заслуга*.

Не въ новыхъ путяхъ длаю, но писанія его не забыты и не забудутъ еще такъ скоро потому, что онъ первый безъ прикрасъ и не идеализируя открылъ передъ нами душу нашего безочеловечнаго интеллигента, первый понял и передалъ намъ всю муку его боли, всю глубиную свдвущую его тоску. Не забудется до тхъ поръ, пока этотъ безочеловечный интеллигентъ, безъ корой въ насъ и безъ связей въ верхахъ жизни, не растворится въ ея усложняющейся магообразности, не дифференцируется и не переставетъ, наконецъ, быть „лишнимъ“.

Скоро или не скоро еще это будетъ, но жавъ съ послдующей сомнѣній логичностью ведемъ къ этому.

А. А.

Чеховщина въ жизни и въ литератур.

Юбилейная статья принята начинать съ стереотипной фразы...

„Такое то (има рекъ) принадлежать къ числу самыхъ любимыхъ нашихъ писателей“. Но врядъ ли кто другой иметъ еще такое право шлоствитъ о немъ изъ самыхъ любимыхъ нашихъ писателей, какъ Ант. Пав. Чеховъ. Отдлать ли въ давномъ случдъ личность отъ таланта, или видть въ нихъ одно цлное, другъ друга обуславливающее,—безразлично: образъ Чехова одинаково въ обоихъ случаяхъ будетъ стоять передъ нами въ величественномъ обаяніи громадной внутренней душевной цвнности, цвнности безупречной пробы, будетъ ярко и ослепляюще сиять и гртъ. И съ какою бы точки зрнія мы къ нему ни подходили, какъ бы требованію ему ни стали предъявлять, образъ этотъ остается безупречно чистымъ и незапятнаннымъ. Еще больше обаяніе придаетъ ему трагизмъ му-

*) Этотъ очеркъ былъ прочтенъ авторомъ на вечоръ въ память А. П. Чехова въ общ. любительской музыки и литературы 27 января.